

НАТАЛЬЯ
ГОРБАНЕВСКАЯ

РУССКИЙ
ГУЛЛИВЕР

ПРОЗОЙ
О ПОЭЗИИ

Наталья Горбаневская
Прозой. О поэзии и о поэтах

ИП «Центр современной литературы»

Горбаневская Н. Е.

Прозой. О поэзии и о поэтах / Н. Е. Горбаневская — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-069-3

Книга человека легендарной судьбы, поэта и правозащитника, лауреата «Русской премии» за 2016 год Натальи Горбаневской, в которой она выступает не только как исследователь стихов, но и как свидетель судеб своих современников и друзей. В круг напряженного этического внимания автора входят, наряду с Анной Ахматовой, нобелевскими лауреатами Иосифом Бродским и Чеславом Милошем, известные представители «ленинградской поэтической школы», а также поэты, прошедшие через тюрьмы, ссылки и лагеря. Статьи и эссе, обладающие редким свойством документального свидетельства, посвящены Томасу Венцлове, Александру Галичу, Юрию Галанскову и др. Очерки и статьи последних лет представляют русскую литературу новейшего времени. Завершается книга статьями и заметками о Пушкине.

ISBN 978-5-91627-069-3

© Горбаневская Н. Е.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

Вместо эпиграфа	5
Праздник праздников	6
Вместо предисловия	7
Та часть советской культуры, которая называлась самиздатом	8
Ахматова	12
Ворованный воздух	13
Как я порезала следователя	17
Из заметки «Три реплики»	19
«...Она научила меня жить будучи стихотворцем»	20
«Знаешь, где он – твой уют?»	23
Свидетели Ахматовской эпохи	25
Умерим восторги	29
«Кто же сможет в этом разобраться?»	32
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Наталья Горбаневская Прозой. О поэзии и поэтах

Вместо эпитафии



Сошествие во ад.
Иконописная прорись.

Праздник праздников

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Лучшее русское двустишие. На смену твердой, даже резкой ямбической двуударности первого стиха приходит двуударный же трехстопный ямб, но с таким пиррихием, что от ударения до ударения – целое открытое пространство, на котором много чего происходит: в ударное, но закрытое «и» стих углубляется, как в узкую щель смысла (истины то есть), одновременно начиная аллитерацию ВоиСтину ВоСкреСе (а первые половины обоих стихов перекликаются двумя «ст» – твердым и мягким). Углубляется, почти затухает, поэтому второе «воскресе» звучит глуше и уже первого и становится еще более рифмой: мы же обычно стараемся не рифмовать одно и то же слово с самим собой, а тут оно как будто и не совсем одно и то же. Да и правда, не одно и то же: у-тверждение и под-тверждение.

Вообще лучшие русские двустишия сочинены по-церковнославянски и входят в состав православного богослужения. С сегодняшним, пасхальным, красотой может поспорить:

Богородице
Дево, радуйся!

(Пишется-то оно в богослужебных текстах в строку, но произносится в два стиха.)

Оба стиха – хореические (скорее надо бы сказать «хореоиды»). Намеку на возможность ударения в первом слоге первого стиха отвечает ослабленное, угасающее ударение на первом слоге второго, и больше ударений нет, кроме как на рифме. Рифма-ассонанс «родице-радуйся» сближает корни «род» и «рад», делает их почти синонимами и напоминает о смысловой рифмовке евангельского «радуйтесь и веселитесь» с библейским «плодитесь и размножайтесь».

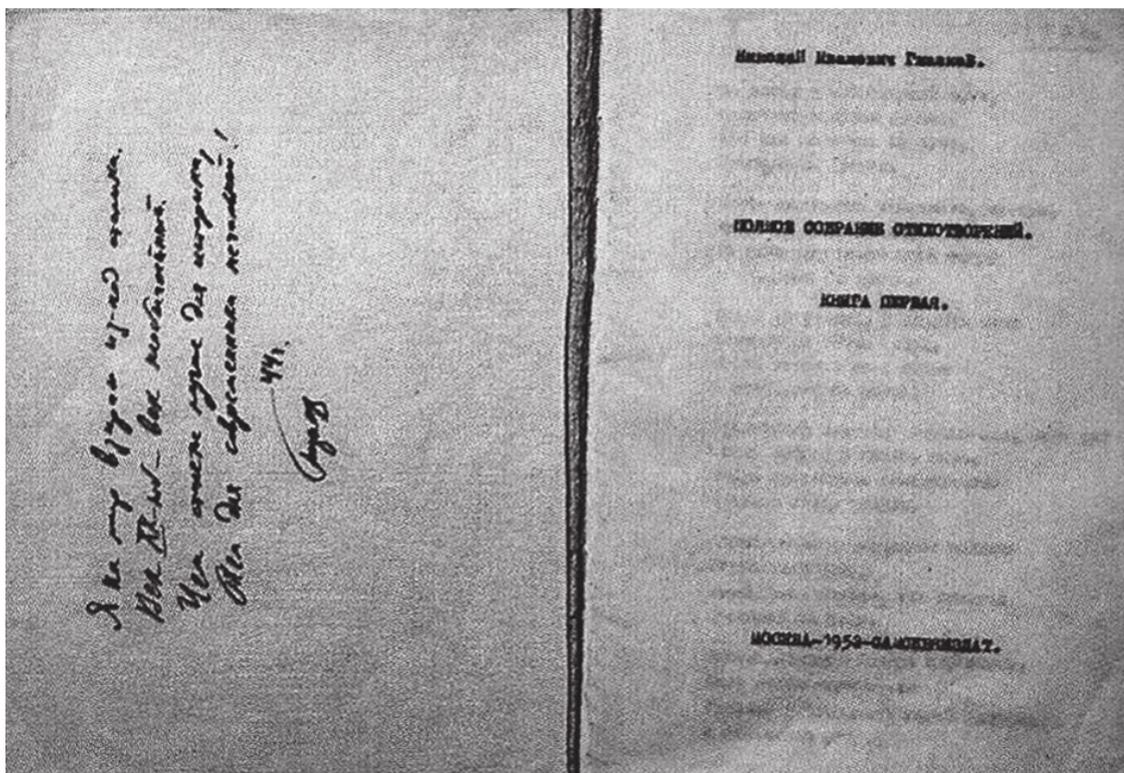
Единственное возражение: это двустишие, в отличие от пасхального возгласа, не изолировано. За ним следует дальнейший текст, написанный тонизированным верлибром: «Благословенна ты в женах / И благословен плод чрева твоего» – и т.д.

Ну, тут я только и могу прибавить, что и лучшие русские верлибры написаны по-церковнославянски. Послушайте хотя бы Славословие великое – то, которое у латынян Глория. (Только в церкви, а не на ютубе.)

Париж, 4 апреля 2010 г.

<http://ng68.livejournal.com/654638.html>

Вместо предисловия



Слово «самиздат» родилось от «Самсебяиздат» поэта Николая Глазкова (1919-1979). Книга его стихотворений (1953) из собрания Бременского архива самиздата.

Та часть советской культуры, которая называлась самиздатом

Выступление на конференции

«Что осталось от советской культуры»

(Женева, июль 2000)

Настоящий текст, восстановленный по кратким, полуразборчиво набросанным тезисам, не точно соответствует моему выступлению на заседании конференции, а скорее представляет собой то, что я хотела и из-за спешки не вполне успела сказать. Однако кое-что мне удалось еще произнести публично при прощальном застолье (в частности тот анекдот, с которого выступление должно было начинаться и с которого теперь начинается предлагаемый текст), кое-что – в кулуарах, кое-что, правда, осталось «в уме», но все это вместе, быть может, более точно отразит мою точку зрения.

Напомню старый, но по-прежнему мой любимый анекдот.

Сидит человек в кафе. «Официант, чашечку кофе и газету “Правда”». – «Чашечку кофе – пожалуйста. Газеты “Правда” нет, советская власть кончилась». Тот опять: «Чашечку кофе и газету “Правда”». Официант (с некоторым удивлением): «Чашечку кофе – пожалуйста. Газеты “Правда” нет, советская власть кончилась». – Посидел еще: «Чашечку кофе и газету “Правда”». Официант, выведенный из терпения: «Чашечку кофе – пожалуйста. Газеты “Правда” нет, советская власть кончилась – я же вам говорил!» Посетитель (сладостно-восторженно): «Говори, милый, говори!..»

Вот и мы здесь так же: советская власть кончилась, и мы – «говорим, милый, говорим».

Я буду говорить о том явлении советской культуры, которое тоже кончилось – если не вместе с советской культурой (судя по ходу конференции, вопрос о ее полной кончине остается открытым), то по крайней мере вместе с советской властью. О самиздате – на мой взгляд, главном средстве сопротивления советской культуре и, шире, советской цивилизации и разрушения ее изнутри.

Чтобы оценить его значение, напомню, что самиздат (вместе с «тамиздатом») дал четырех русских лауреатов Нобелевской премии: кроме Пастернака, Солженицына, Бродского, еще и Андрея Сахарова.

Говоря о самиздате, я и «экспонент», и «экспонат» – практик самиздата: машинистка, автор (стихов, но не только), редактор, журналист. К стихам, с которых начинался в 50-е годы самиздат, я вернусь дальше. Сначала же несколько слов о публицистике, журналистике, о правозащитном самиздате, чем я во второй половине 60-х и занималась. Здесь удобный случай возразить Игорю Виноградову, который, выступая до меня, настаивал на том, что «шестидесятники» в массе своей были одушевлены социалистическими взглядами. Но тогда я и мое поколение, т.е. люди, наиболее активные в 60-е годы, к «шестидесятникам» не принадлежим (что меня вполне устраивает). Во второй половине 60-х мое поколение, на несколько лет младше тех, о ком говорил Игорь, было – за малыми, может быть, исключениями – настроено откровенно антисоветски и антисоциалистически. Тех, кого теперь принято называть «шести-

десятниками», мы называли «либеральной интеллигенцией» – не без оттенка иронии. Хотя, конечно, она была частично и средой поддержки правозащитников и самиздатчиков.

Эта антисоветская и, повторяю, антисоциалистическая настроенность почти не находила прямого, декларативного выражения в самиздате. И не только из-за того, что это было опасно. Нет, скорее потому, что эти взгляды были столь естественны, столь само собой разумелись, что их не надо было даже декларировать – ни в самиздате, ни в частной жизни («на кухне»). Декларировалось другое – права человека, не идеология, а идея, притом способная объединить всех. И, кстати (это опять к выступлению Игоря Виноградова), религиозному сознанию никак не противоречившая.

На идее защиты прав и свобод человека, в первую очередь свободы информации, стояла «Хроника текущих событий». На фоне оголтелой советской пропаганды «Хроника» была не «контрпропагандой», а той добросовестной журналистикой, какой не была и не могла быть советская печать. Не секрет, правда, что в некоторых документах самиздата тоже иногда воцарялось то, что я в то время называла «поэтикой эпитетов», то есть жажда словесно покрепче «приложить» – «мордой об стол». В противоположность этому, «Хроника» стремилась быть чистой по стилю и тону, исключительно несущей информацию, безоценочной. Оценки приходилось давать в крайне редких случаях. Приведу один из них. В 69-м году в Москве были арестованы, признаны невменяемыми и отправлены в психиатрическую больницу специального типа члены национал-большевицкой организации. В самиздате появился памфлет, автор которого выражал злорадство по этому поводу. «Хроника», где регулярно появлялись обзоры самиздата, была вынуждена отметить, что не следует злорадствовать, когда людей за какие бы то ни было взгляды бросают в психиатрическую тюрьму.

«Хроника» была ограничена своей тематикой: борьба за права человека и преследования всех, кто так или иначе осуществлял эти свои права. Но в рамках этой тематики она давала информацию как можно более полную и точную. Вообще самиздат был «советским» не только по хронологической принадлежности к советскому периоду истории – он еще и отражал советскую действительность, т.е. делал то, чего от советской литературы на словах требовали, на деле же никак не допускали. Одновременно он раздвигал границы официальной литературы.

Так, на наших глазах переходила из самиздата на страницы издаваемых книг ранее запрещенная русская поэзия XX века. Медленно, с препятствиями и далеко не вся, но всё-таки. Самиздат, как я уже упомянула, и начинался с поэзии, продолжая старую традицию хождения стихов в списках. Стихи перепечатывали, переписывали от руки (самиздатом становились даже некогда изданные, но затем исчезнувшие книги: я сама году в 56-м от руки переписала «Столбцы» Заболоцкого). В 57-м я впервые увидела «Воронежские тетради» Мандельштама, перепечатанные на машинке, как только Н.Я.Мандельштам выпустила их из рук. Позднее я и сама активно участвовала в «тиражировании» «Реквиема» Ахматовой.

Были и другие формы, близкие к самиздату. Об одной из них, называвшейся тогда «магнитиздатом», здесь говорил Владимир Новиков. Был и такой, довольно древний способ распространения стихов, как публичное чтение. Но поскольку речь шла о стихах заведомо «непечатных», постольку и это становилось формой самиздата. Многие помнят – мне однажды в зале Чайковского случилось быть очевидцем этого, – как Мария Вениаминовна Юдина, когда ее вызывали на «бис», вместо того чтобы сесть за рояль и играть, читала стихи Пастернака. А в моей жизни был совершенно необычайный случай: году в 67-м меня внезапно пригласили в Политехнический музей, предложив рассказать о встречах с Ахматовой. Там был такой вполне советский вечер: поэты поизвестнее представляли поэтов понеизвестнее, а перед моим выступлением было сказано: «Здесь каждый из выступающих привел с собой друга, а вот такая-то была знакома с Анной Андреевной Ахматовой и как бы привела ее к нам». Слова довольно глупые, но я знала, что буду говорить об Ахматовой и соответственно подготовилась, взяла с собой машинописи. Я рассказала о ней как умела, прочитала свои стихи, с которыми когда-то

впервые пришла к Ахматовой, а потом прочла – в Политехническом музее! – эпилоги «Реквиема» и «Поэмы без героя». Можно себе представить, как звучало в этом советском зале:

А за проволокой колючей,
в самом сердце тайги дремучей
я не знаю, который год,
ставший горстью лагерной пыли,
ставший сказкой из страшной были,
мой двойник на допрос идет...

Авторами самиздата были все великие и многие меньшие русские поэты XX века. Самиздат принимал все поэтики, кроме той, что господствовала в советской поэзии: ему было неважно, что, например, Ахматова и обериуты не принимали друг друга. Самиздат открывал поэтов при жизни или много лет спустя после смерти, как то произошло, скажем, опять-таки с обериутами.

Тут я позволю себе покинуть тему самиздата как такового и попытаться найти хотя бы частичный ответ на вопрос, как эти поэты выживали или погибали. Как они жили в этой пресловутой советской культуре (или в стороне от нее) и во вполне реальной советской стране. Какой образ пребывания в ней выбирали и как это влияло на избранную для них советской властью форму смерти. Думаю, нельзя ограничиться утверждением, что это была чистая лотерея.

Как и кого советская власть убивала из «своих» – не моя тема. Поэты, при жизни или посмертно ставшие авторами самиздата, были ей чужие. Но и их, однако, истребили не всех. Ахматова написала: «Ровно десять лет ходила под наганом...» На самом деле она «ходила под наганом» не десять, а десятки лет, но выжила. Мне, конечно, приятно думать, что ее оставили в живых для того, чтобы мы, ее младшие современники, смогли ее не только прочитать, но и увидеть, услышать, вживую ухватить не до конца порванную связь времен. Но, конечно, советская власть этого не планировала, да и вопрос вообще не о цели, а о причине.

Ахматова в поздние годы любила пожаловаться на то, что какой-то критик еще, кажется, в 25-м году объявил ее мертвой. Но я думаю, что критик лишь сделал вывод из того, что она успешно прикинулась мертвой – мертвой, т.е. неопасной. Так она прожила почти все 20-е и все 30-е годы, самые опасные для жизни. Она так успешно прикинулась, что ей даже дали пенсию (в далеко не пенсионном возрасте), позволили напечатать литературоведческие работы, а в конце концов, в 40-м году, – и издать книгу избранных стихов. Но уже эта книга, хоть и покалеченная цензурой, обнаружила, что Ахматова жива и мертвой только прикидывается. Еще яснее это стало в годы войны, когда вообще появилось ощущение, что дышать и жить можно. В результате на Ахматову навели наган «нового типа» – постановление 1946 года.

Если бы так мог в 30-е годы вести себя Мандельштам! Тоже чужой, ненужный, кого советская власть вполне могла бы забыть. Но он всё время, что называется, «высовывался»: то писал сатиру на Сталина, то оду ему же, что равно тревожило и обращало на него внимание; то чего-то требовал от Союза писателей, этого филиала «органов»; то «наплывал» на русскую литературу, которой по определению быть не могло – только советская. И так далее. Как это кончилось – всякий знает.

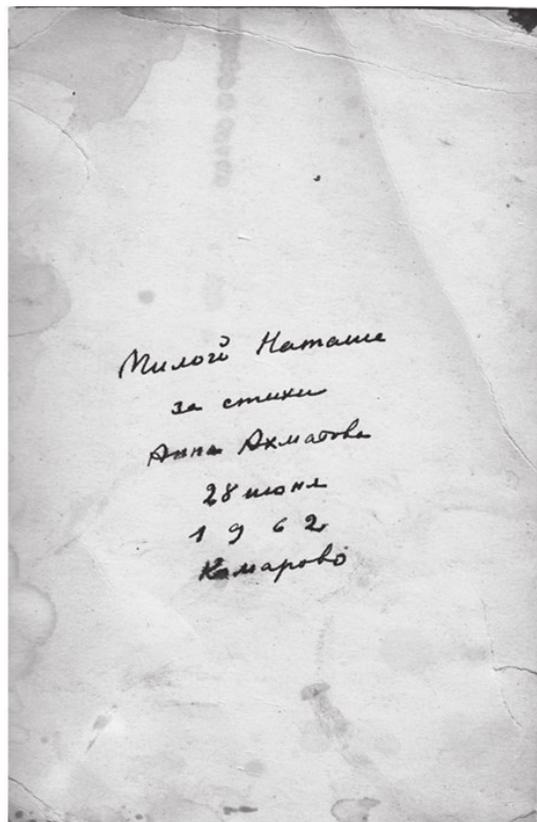
И вот люди иного поколения – обериуты. Поразительно: они были репрессированы все и практически все погибли – выжил, пройдя лагеря, один Заболоцкий. Это было иное поколение, нежели Ахматова и Мандельштам, поколение, на которое советская власть рассчитывала. Вроде бы «свои», именно те, кому полагалось поднимать и растить советскую культуру: газетчики, детские журналисты... Оказалось – не «свои». Потому-то, думаю, расправа была такой тотальной и беспощадной.

Закончу недавно написанным стихотворением, которое называется «10=9» и посвящено памяти обериутов. С эпиграфом: «...писали бы ямбом...»

Где в ореоле черных солнц,
вещей глаголом переполнясь,
они шутили, как гасконец,
по русским скачущий снегам,
там их за ямбы ждал червонец,
и за хореи ждал червонец,
и за верлибры ждал червонец
без переписки – девять грамм.

Публикуется впервые.

Ахматова



Эту фотографию с рисунка Николая Тырсы Анна Андреевна подарила мне в одну из наших первых встреч.

Ворованный воздух

Выступление на конференции «Праведники ГУЛАГа»

(Милан, декабрь 2003)

В один прекрасный декабрьский день 1962 года мне случилось стать участницей события, на мой взгляд, необыкновенно важного: будучи в гостях у Анны Ахматовой, в одной из московских квартир, где ей оказывали гостеприимство, я – как многие другие в те дни – получила разрешение переписать ее «Реквием». Этот цикл стихов (или поэма – насчет жанра мнения расходятся, но не это важно) был написан в 1935-1940 гг., во время разгула сталинского «Большого террора». Много лет его слышали лишь считанные друзья поэта, в большинстве запомнившие стихи наизусть. Ни сама Ахматова, ни ее немногочисленные слушатели никогда не доверяли «Реквием» бумаге. Но после того как в ноябре 1962 года в «Новом мире» был напечатан «Один день Ивана Денисовича», Ахматова подумала, что, может быть, наступило время и для «Реквиема». И оно действительно наступило, но не для печатной публикации в Советском Союзе, где после очередной кратковременной оттепели быстро начались новые заморозки. Наступило время выйти «Реквиему» в самиздат.

Протягивая мне шариковую ручку, Анна Андреевна сказала: «Этим карандашиком перед вами переписал “Реквием” Солженицын». Но кроме меня и Солженицына – этим ли, не этим ли «карандашиком» – «Реквием» переписали у Ахматовой десятки людей. И, конечно, каждый или почти каждый, вернувшись домой, сел за пишущую машинку. Я сама отпечатаала, наверное, десятка два закладок по четыре экземпляра в каждой. Раздавая «Реквием» друзьям и знакомым, я каждый раз выдвигала простое требование: «Перепечатаете – один экземпляр возвращаете мне». И дальше всё шло по новому кругу. Так только через мои руки распространились сотни экземпляров «Реквиема», а общий его самиздатский тираж достиг по меньшей мере нескольких тысяч.

Уже после смерти Ахматовой, в день моего ареста, 24 декабря 1969 года, переписанный мною от руки экземпляр с титульным листом, который написала сама Анна Андреевна, был изъят у меня на обыске. Но меня за «Реквием» хотя бы не судили (судили за другое), а вот несколько лет спустя на Украине «хранение и распространение» «Реквиема» стало одним из пунктов приговора Рейзе Палатник – цикл Ахматовой был квалифицирован как «заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй».

Что ж такого страшного было в лирических стихах, рассказывающих, если говорить упрощая, о горе матери, у которой арестован сын? Чего не мог вынести в них «советский государственный и общественный строй»?

Примерно в те же годы, что Ахматова сочиняла «Реквием», здесь, на земле Италии, югославский коммунист Анте Цилица, чудом вытщенный из ГУЛАГа, написал книгу о своем советском опыте и назвал ее «Страна сногшибательной лжи». Он писал не только о своем гулаговском опыте, но и о жизни на советской «воле». Уже тогда, в конце 30-х, тем, кто не боялся раскрыть глаза, было ясно, что ложь – один из устоев тоталитарной системы. Без опоры на ложь не мог бы выжить тоталитаризм никакого цвета: красного, черного, коричневого... Любое слово правды подтачивает и расшатывает этот устой, что и привело в конце концов к крушению самого долгого тоталитаризма XX века и распаду выстроенной им советской империи.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды», – заповедал нам Христос. Для нас, живших под гнетом советской лжи, пропаганды, новоречи, имеющаяся здесь в виду правда-справедливость сливалась в одно с правдой-истиной. Но слово поэзии, сказала бы я, тем более такой поэзии, как у Ахматовой, – это не просто голая истина, оно больше – озарение, откровение.

«Муж в могиле, сын в тюрьме. / Помолитесь обо мне», – пишет Ахматова в «Реквиеме». Читатель воспринимает это не как простое сообщение о том, что ее первый муж поэт Николай Гумилев был расстрелян большевиками при Ленине, а ее единственный сын Лев Гумилев – посажен большевиками при Сталине. Читатель может даже не знать этих деталей биографии поэта, но сердце ему пронзает трагедия миллионов русских женщин, молчащих – как ошибочно принято говорить, безымянных, – но сказавших свое устами великого поэта.

В открывающем «Реквием» прозаическом отрывке под заголовком «Вместо предисловия», говорится:

“В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом)

– А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу”.

За них, быть может, «никогда в жизни» не слыхавших ее имени, говорит Анна Ахматова:

...мы повсюду те же,

Слышим лишь ключей постылый скрежет

Да шаги тяжелые солдат.

Подымались, как к обедне ранней,

По столице одичалой шли,

Там встречались, мертвых бездыханней...

.....

Как трехсотая, с передачею,

Под Крестами будешь стоять

И своей слезою горячею

Новогодний лед прожигать.

.....

Семнадцать месяцев кричу,

Зову тебя домой,

Кидалась в ноги палачу,

Ты сын иль ужас мой.

.....

И я молюсь не о себе одной,

А обо всех, кто там стоял со мною

И в лютый холод, и в июльский зной

Под красною ослепшею стеною.

И здесь же просит она ставить ей памятник, «если когда-нибудь в этой стране» его «воздвигнуть задумают»:

...здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

«Реквием» – одна из вершин поэзии Анны Ахматовой, но я не хотела бы, чтобы меня поняли так, что высота этой вершины достигнута лишь за счет тех, чьим голосом здесь говорит Ахматова, тех, о ком она сказала:

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

Это она, Анна Ахматова, личность, индивидуальность, могла не только описать пережитые ею события, но и произнести «бедные, подслушанные слова» своим «неповторимым голосом». Выражение «неповторимый голос» она употребила применительно к другому поэту, но каждый поэт, если он действительно поэт, а не наемный лжец на службе господствующего режима, – каждый есть неповторимый голос. И это еще одна причина, по которой десятки лет нас лишали огромных пластов великой русской поэзии XX века, по которой не пропускали в печать нарождавшуюся молодую поэзию. Голос поэта – это отдельный голос: голос личности, а не коллектива, даже тогда, когда он, как Ахматова в «Реквиеме», говорит за миллионы. Этот голос, о тюрьме ли он говорит или о любви, обращается к читателю тоже отдельному, один на один, отвлекает его от коллективных задач, от очередных директив очередного пленума ЦК партии. И помогает ему почувствовать себя личностью, а не винтиком в отлаженном механизме «утопии у власти».

И сотни, тысячи этих отдельных читателей (но не будем преувеличивать, не миллионы – миллионы питались жвачкой того, что называлось советской поэзией), желая читать то, что хотят, и другим подарить эту свободу чтения, создали чудо, известное под названием самиздат. На допотопных пишущих машинках поначалу распространялись извлеченные из забвения или небытия стихи – та поэзия, о которой смело можно сказать словами Мандельштама «ворованный воздух». Позже в самиздат пошла и проза, и документы, и информация, и исторические труды, и философия, и богословие, и – оборвем перечень. Но начинался самиздат с поэзии, и вам, надеюсь, уже ясно, что это было вполне логично: не только в том дело, что стихи короче и перепечатать их можно быстрее, а прежде всего в том, что «ворованный воздух» давал чем дышать.

Неслучайно и первым самиздатским журналом стал «Синтаксис» Александра Гинзбурга со стихами молодых поэтов конца 50-х. В «Синтаксисе» был впервые напечатан будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Там же впервые появились тексты уже начавших расходиться на магнитофонных пленках песен Булата Окуджавы. Ограничусь этими двумя дорогами для меня именами и подчеркну: в трех выпущенных Гинзбургом номерах журнала практически не было стихов политического содержания, но издатель был арестован и отсидел за свой журнал два года – первые два года из будущей суммы его лагерных сроков.

За поэзию у нас платили – тюрьмой, лагерем, бывало, что и гибелью, как Гумилев и Мандельштам; в послесталинские «вегетарианские» годы – опять-таки лагерем, психбольницей или хотя бы конфискацией машинки на обыске. Конечно, платили далеко не все поголовно, но рисковал каждый. Каждый, кто зимой 1962-1963 года переписывал на машинке только что запущенный в самиздат «Реквием» Ахматовой, рисковал ночным стуком в дверь, обыском, арестом. И каждый это знал. И продолжал в ночной тишине стучать по клавишам.

По-русски публикуется впервые.

Как я порезала следователя

На дворе стоял 1969 год. За два месяца между обысками (23 октября и 24 декабря) у меня снова накопилась груда самиздата, и районный следователь Шилов, непривычный к политическим делам (на то ему в помощь были приданы два типа из КГБ), составляя протокол, время от времени обращался ко мне же за помощью. Во время обыска всегда выплывают мелочи, которых раньше было не отыскать. Так нашлось бритвенное лезвие, которым я немедленно – зная, что сегодня меня не просто обыщут, но заберут, – принялась точить карандаши для старшего сына-школьника. Оно было у меня в руке, когда Шилов протянул мне очередной «документ», предназначенный к изъятию: как, мол, это лучше записать в протокол? Едва увидев, что он собирается изъять, я бросилась отнимать у него сколотые скрепкой листки, восклицая: «Что вы берете! Это же автограф Ахматовой!» – и... в короткой и непобедоносной схватке зацепила его бритвой по косточкам пальцев. Потекла кровь, один из гэбистов в восторге кинулся к телефону, извещать «моего» следователя Акимову, что Горбаневская оказала вооруженное сопротивление, напала на Шилова... Уже решенный арест получал дополнительное обоснование, а главное, неизмерима была чекистская гордость: в кои-то веки натолкнулись на «вооруженное сопротивление».

Увы, я порезала следователя нечаянно. При всем моем пресловутом экстремизме насильственные действия никогда меня не увлекали и вид крови не одушевлял. Я даже извинилась перед Шиловым, о чем он позднее упомянул на суде, но это не помешало следствию и суду к моей «политической» сто девяностой прибавить обвинение в оказании сопротивления сотруднику следственных органов при исполнении служебных обязанностей (статья подразумевает сопротивление умышленное и насильственное).

То, что у меня хотели изъять – и изъяли, – был сделанный моей рукой список текста «Реквиема» с титульным листом – автографом Ахматовой.

Я переписывала его в гостях у Анны Андреевны в Москве (в тот момент своей кочевой московской жизни она жила у Маргариты Алигер) в декабре 1962 или начале января 1963 года. Дату можно было бы уточнить: она есть на автографе (спасенном в конце концов, но мне сейчас недоступном).

Анна Андреевна сказала мне: «Перед вами тут был Солженицын и тем же карандашиком тоже переписал весь текст» («карандашиком» она называла шариковую ручку). Когда я кончила переписывать и попросила Ахматову надписать мой экземпляр, она не просто его надписала, но сделала целый титульный лист – так красиво, как она одна умела.

Вернувшись от Анны Андреевны, я немедленно принялась перепечатывать «Реквием» на всех доступных мне машинках (своей тогда еще не было). Я сделала по меньшей мере пять закладок в четыре копии и все их раздавала с условием: перепечатать и мне вернуть мой экземпляр плюс еще один. А потом снова пускала в оборот. Мои два десятка (если не больше) экземпляров породили самое меньшее сотню. В целом же, по моим расчетам (известно, что многие действовали, как я), в первые же месяцы «тираж» самиздатского «Реквиема» перевалил за тысячу.

В мае 1963 года в Ленинграде я подарила один машинописный экземпляр «Реквиема» Анджею Дравичу. Когда в том же году у Ахматовой появилась беленькая книжечка «Реквиема», кто-то сообщил ей, что текст был получен из Польши. Анна Андреевна с деланным неудовольствием приговаривала:

– Ох, Наташа, не надо было давать «Реквием» этому поляку... – полуулыбалась и, особо глубоким голосом растягивая гласные, прибавляла: – Ну, конечно, я понимаю: такой красивый поляк...

Я называю имя Дравича лишь потому, что, встретившись со мной много лет спустя на Западе и выслушав эту историю, он почти смущенно признался, что он тут ни при чем. И все-таки попавший на Запад экземпляр «пошел» от моего списка. В этом меня убедила ошибка в одной строке текста: вместо «под кремлевскими стенами выть» в книжке стояло «под кремлевскими башнями выть». Я возмутилась, кинулась к своему рукописному списку – это была моя описка! Теперь она закреплена во всех изданиях, вплоть до нынешней публикации в «Октябре». Зоя Томашевская, которая приводит разночтения текста по сравнению с магнитофонной записью чтения Ахматовой в 1965 году, этого разночтения не указывает. Чем это объяснить, не знаю: мне помнится, что на «башни» вместо «стен» указала сама Анна Андреевна. К счастью, мой список был одним из многих, и есть возможность проверить и, если надо, восстановить эту строку либо хотя бы зачислить ее в варианты.

В 1967 году мне выпала редкая возможность – публично, с трибуны Политехнического музея, прочитать отрывки из «Реквиема». Я еще не была заклеянной, и кто-то¹ позвал меня участвовать во вполне официальном выступлении молодых поэтов. Мы пошли туда с Ларисой Богораз, Толей Марченко и недавно освободившимся после десятилетнего заключения Леной Ренделем. Там надо было не просто читать стихи, а о чем-нибудь «интересном» рассказать. А у меня был с собой «Реквием».

– Я была знакома с Ахматовой, – сказала я, или, что более вероятно, тот кто-то, кто меня пригласил, сказал: – А Наташа была знакома с Ахматовой.

– Вот и прекрасно, – воскликнул организатор и, выйдя на сцену, объявил, что у нас-де сегодня каждый представляет публике своих друзей (в чем это состояло, убей Бог, не помню), а вот такая-то расскажет об Анне Ахматовой. Я рассказала – немного: я не очень умею «рассказывать об Ахматовой», я ее всегда созерцала с таким трепетом, что потом почти ничего «интересного» не могла вспомнить. А в заключение прочла из «Реквиема», положив на трибуну крамольные машинописные листки, – «Это было, когда улыбался...» («Вступление») и обе части «Эпилога»². И как это звучало в Большой аудитории Политехнического музея, в полной, сосредоточенной тишине. Впрочем, наверно, тише всех сидели те, кто «недосмотрел» и допустил такую «демонстрацию»...

Что же до изъятого на обыске списка (закапанного кровью!), то поднятый вокруг него шум привел к тому, что летом 70-го года, после суда, «Реквием» оказался в числе немногих бумаг, возвращенных моей маме. Стало быть, признан некриминальным. Что не помешало годом позже одесскому суду включить «Реквием» в приговор по делу Рейзы Палатник как пункт, доказывающий ее вину в «изготовлении и распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»...

Чудно, что «Реквием» не забрали на предыдущем обыске. Впрочем, оставил же на месте гэбист, оба раза осматривавший книжные полки, западный (тогда другого и не было) том Мандельштама. (Не тот из пары, что с шумной радостью звонил по телефону, – второй.) И остался же в ящике моего письменного стола, тщательно обысканного следователем Шиловым, конверт с аккуратно приготовленными материалами к 11-му выпуску «Хроники текущих событий»...

Русская мысль. 12.05.1987.

¹ Александр Аронов. – *Прим. нынешнее.*

² Поскольку статья – о «Реквиеме», тут ничего не сказано о чтении эпилога «Поэмы без героя» (см. выше). – *Прим. нынешнее.*

Из заметки «Три реплики»

Публикация «Реквиема» Анны Ахматовой в «Неве» (1987, №6, т.е. через три месяца после «Октября») могла бы показаться странной, если бы из нее не выяснилось, что, мягко говоря, «странной», а всерьез – попросту пиратской была именно публикация в «Октябре». Для сведения наших читателей приведем заметку «От редакции», помещенную после текста «Реквиема» в «Неве»:

“Право на публикацию стихотворного цикла А.А.Ахматовой «Реквием» нам официально передал наследник Анны Андреевны – Лев Николаевич Гумилев. Редакцией «Невы» была проведена тщательная текстологическая работа. Печатается «Реквием» по авторизованным текстам (1963, 1964 гг.), принадлежащим Э.Г.Герштейн и М.В.Ардову, а также двум магнитофонным записям чтения Ахматовой, находящимся у Н.Н. Глен и Н.В.Рожанской. Редакция благодарит этих товарищей, а также В.Г.Адмони – члена комиссии по литературному наследию А.А.Ахматовой – за деятельное участие в подготовке текста.

Этот номер журнала уже был сдан в производство, когда нам стало известно, что «Реквием» неожиданно опубликован в журнале «Октябрь» без ведома наследника А.А.Ахматовой и комиссии по литературному наследию.

Тем не менее, учитывая и читательский интерес к творчеству А.А.Ахматовой, и высокое художественное значение «Реквиема», редакция «Невы» решила не отказываться от своего права на эту публикацию”.

И слава Богу. Еще 290 тысяч экземпляров «Реквиема». Остается вопрос: зачем устроил «Октябрь» свою разбойную вылазку, не спросив ни Л.Н.Гумилева, ни комиссии по литературному наследию? В «РМ» в свое время уже отмечалось шокирующее соседство «Реквиема» на страницах «Октября» с очередным сочинением гнусно прославленного Яковлева из серии «ЦРУ против СССР». Вероятно, «Реквием» не случайно попал в такое соседство (пасквиль Яковлева начинался прямо на обороте последней страницы стихов): ему предназначили роль прикрытия, позволяющего приравнять оба текста как публикации эпохи «гласности» и «открытости».

Русская мысль. 24.07.1987

«...Она научила меня жить будучи стихотворцем»

Из интервью

...Самым главным из того периода [«времен “подполья”, из жизни в Советской России», по формулировке интервьюера] было, безусловно, знакомство с Ахматовой. Это решило всё в моей жизни.

Я и раньше пыталась познакомиться с ней. В июне 61-го года Дима Бобышев повез меня в Комарово, но, когда мы приехали, оказалось, что она в Москве. Я училась тогда на заочном в Ленинградском университете и два раза в год ездила сдавать сессию. А зимой с 61-го на 62-й не ездила, потому что незадолго до того родила. И вот зашла в «Литературную газету», где работал мой близкий друг Валентин Непомнящий, и говорю: «Скоро еду в Ленинград, меня познакомят с Ахматовой». А Галина Корнилова, в будущем тоже моя близкая подруга, говорит: «Ахматова сейчас в Москве, пойди познакомься». Я говорю: «Ну что ты, как я пойду». – «Нет-нет, вот тебе телефон, позвони». – «Может, ты сама позвонишь?» – «Нет, звони». Позвонила, испытывая неловкость: «Хочу прийти, почитать стихи». У меня была идея, что не стоит надоедать великим поэтам с какими-то там моими стихами. Она говорит: «Приходите». И назначила прямо на послезавтра. Я пришла на Ордынку, к Ардовым. Вышло очень хорошо, что я не попала к ней на год раньше. Потому что у меня перед тем в смысле стихов был очень плохой период. Хотя писала довольно много, я их потом почти все выбросила. Крайне неудачный был период.

А тут, весной 62-го года, я успела написать несколько стихотворений, включая два моих, условно говоря, «классических» – «Как андерсовской армии солдат...» и «Концерт для оркестра». И Анне Андреевне они очень понравились. Она и мне сказала, что понравились. Это всякому можно сказать, чтоб человека не обидеть. Но на следующий день сразу позвонила Галя Корнилова и сказала, что действительно очень понравились. Анна Андреевна скоро должна была ехать в Комарове и пригласила меня заходить...

И вот я приезжаю в Ленинград, подхожу к университету, кого-то встречаю, может Асю Пекуровскую или еще кого... я не так уж много знала там людей... и этот кто-то мне: «А говорят, Ахматовой понравились твои стихи». Моя слава бежала впереди меня. Мои ленинградские друзья раньше полупризнавали меня – за то, что москвичка... Женщина – это еще они могли простить, но – москвичка! Но тут как бы признали вполне. Ну, может, я преувеличиваю. Перед тем, правда, у меня не было таких хороших стихов. Есть хорошие стихи периода 56-61-го годов, но это после страшной чистки, которую я позднее произвела. А там была масса непроваренных, непрожеванных стихов, попыток сочинительства. Так что они даже правы были, не вполне меня признавая.

Итак, с мая 62-го и до января 66-го года – последний раз я видела Анну Андреевну в Боткинской больнице – я регулярно виделась с Ахматовой, когда ездила в Ленинград. Кроме того, в то время она подолгу жила в Москве, и я навещала ее в разных московских домах. Она не всё время была на Ордынке. Почему-то надо было постоянно из дома в дом переезжать, и вот пару раз я ее перевозила – брала такси, заезжала за ней...³ Машин тогда практически ни у кого не было.

Она действительно меня любила, это я могу сказать. Я же, когда ее видела, – будто каждый раз орден получала, и ни за что, незаслуженный. Но самое главное было даже не это. Самое

³ Когда Анна Андреевна звонила мне на работу, в Книжную палату, коллеги надо мной смеялись: «Ты перед ней по телефону стоишь по стойке “смирно”». – *Прим. нынешнее.*

главное – что я с ней начала становиться человеком. Потому что я стояла на очень скользком пути. А скользкий путь – это что такое? Для поэта, я считаю, вообще опасно в молодости, для женщин – еще более опасно... – это, условно говоря, выбор такой «цветаевской» позиции. Я очень увлекалась Цветаевой как поэтом, как человеком. Вот, поэт – это нечто необыкновенное, уникальное, вот, поэт ходит один среди людей и притворяется непогибшим... Такая романтическая, блоковско-цветаевско-байроновская линия очень опасна. Она может дать прекрасные стихи в случаях очень сильного таланта и натуры, но натуру может и разрушить.

Меня Ахматова не отучала от любви к Цветаевой, меня общение с Ахматовой отучило... Я видела, что Ахматова знает себе цену, знает, что она – великий поэт. Не в таких словах, может быть. Знает, что такого русского поэта больше нету. Но она не играет эту роль. Нету того, что называется «ролевое поведение» и что, повторяю, очень опасно, а для девочек – особенно.

У меня это случилось вовремя. Мне было 26 лет, я была еще достаточно молода, чтобы с этого пути свернуть... Хотя уже тогда лучшие стихи писались сами... Я это еще не вполне понимала. Какое-то время очень сильно пыталась писать стихи, быть героем своих стихов...

Был такой случай, свидетелем его я не была, но мне очень быстро пересказали – то ли кто-то из ленинградцев, то ли Миша Ардов. Как-то к Ахматовой пришла чтица по фамилии Бальмонт... Как говорили мальчики, на афишах покрупнее – «Бальмонт», помельче – «Блок» (она читала Блока). Так вот, она посидела у Анны Андреевны, а уходя – так восторженно ей сказала: «Говорят, у вас есть “Поэма без чего-то”?»

Ахматова была счастлива, развеселилась невероятно и всем это рассказывала. Я очень люблю эту историю, и теперь вот вам тоже задаю вопрос: что было бы с Цветаевой, если б ей сказали: «Говорят, у вас есть “Поэма чего-то”?» Она бы этого человека убила на месте. Она бы писала кому-нибудь трагические письма. И я начала всё больше отходить от Цветаевой, у меня начали раскрываться на нее глаза, на стихи и на прозу.

Я знала, что она великий поэт. Но это такой чужой и враждебный мне мир. Скорее, не он мне, а я ему враждебна. Он мне не враждебен, потому что я для него не существую. Мир человека, заикленного на себе самом. Поэт – с большой буквы. Творец – с большой буквы. Творца с большой буквы мы пишем только Одного. А поэта с большой буквы писать вообще никогда не надо, по крайней мере по-русски. Нельзя. Даже Пушкина я не пишу поэтом с большой буквы. Поэт и поэт.

В те же годы, 63-64-й, читаю письма Цветаевой к Тесковой, все ее жалобы на жизнь. Читаю: «В Праге жить ужасно. Хочу в деревню». Приезжает в деревню: «В деревне жить ужасно». Потом приезжает в Париж: «Ах, милая Прага!» Это человек, которому везде было плохо. Я могла стать такой – я точно стояла на этом пути. Но я давно уже человек, которому везде хорошо. Ахматовой в Москве было хорошо и в Комарове было хорошо – точно существовали два географических места, где ей было хорошо. А в Москве – и на Ордынке, и у Марии Сергеевны Петровых – дома, где я у нее часто бывала и где бывала после ее смерти. Не было у нее этих жутких жалоб. Мы читаем у Чуковской, как Ахматова трудно жила: иногда ей кто-то помогает, а иногда никто не помогает. Но нет такого, как у Цветаевой: «Ах, почему я, бедная, должна мыть посуду?» Почему?! Я тоже не люблю мыть посуду. И если у меня кто-нибудь моет, это очень приятно, а если нет – я не делаю из этого мировую трагедию.

И я действительно от всего цветаевского отвратилась. Может быть, одно стихотворение Цветаевой до сих пор люблю. Из «Верст» 16-го года:

Вот опять окно,
Где опять не спят,
Может, пьют вино...

– и так далее. Оно как будто еще почти и не цветаевское, не трагическое. Я не говорю, что нельзя трагического. У Ахматовой очень много трагического. Но у Цветаевой трагедия – это значит: никто так не страдал, не страдает, не будет страдать, как страдает она, и в общем-то никто не поймет, как она страдала... Но если не поймет – то зачем писать?

Я стала и остаюсь очень резкой антицветаевкой. Хотя кто любит Цветаеву, это человека в моих глазах никак не дисквалифицирует.

Ахматова меня не учила писать стихи⁴, но она научила меня жить будучи стихотворцем, внушила иерархию ценностей. Не ставить себя на первое место. Знать себе цену, но не требовать, чтобы все ходили, тебя ценили, носили на руках и так далее. Итак, знакомство с Ахматовой – вообще главное событие в моей жизни. За жизнь тамошнюю, здешнюю, какую ни считай. Самое главное.

Русский базар (Нью-Йорк), 20.02.2003, печатается с небольшими исправлениями.

⁴ Это как будто противоречит моим же стихам «Я из тех, кого она / научила говорить», но на самом деле не противоречит: между «учить» и «научить» расстояние, как между «помнить» и «вспомнить». – *Прим. нынешнее.*

«Знаешь, где он – твой уют?»

Н.И.Попова, О.Е.Рубинчик. Анна Ахматова и Фонтанный Дом

СПб: Невский диалект, 2000. 159 с., ил

(Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)

Книга, подготовленная в стенах музея Ахматовой, – не альбом, несмотря на альбомный формат, высокое качество полиграфии и наличие большого числа иллюстраций, и не путеводитель, разве что по жизни. Подробно – по жизни Анны Ахматовой, но еще и по неотделимой от нее жизни нескольких советских десятилетий истории России. Вдобавок, правда, и по той «симфонии петербургских ужасов», как называла Ахматова два предыдущих века. Ибо история Фонтанного Дома началась не с Ахматовой, зато была ей известна и отразилась в стихах, прозаических набросках и «Поэме без героя».

Это скромное музейное повествование в четырех главах я рискнула бы назвать небольшим историческим романом, у которого два главных героя: Фонтанный Дом и жившая в этом доме, но в сущности всю жизнь оставшаяся бездомной поэтесса. И множество действующих лиц: владельцев, насельников, жильцов (знаменитое «Профессия – жилец» на ахматовском пропуске), поэтов, филологов, возлюбленных, детей, друзей. Династия Шереметевых, начинающаяся «Шереметевым благородным», фельдмаршалом Петра I, единственным, кто отказался подписывать приговор царевичу Алексею, и завершающаяся его правнуком, покинувшим Петроград после «самоубийства русской государственности» (отречения Николая II).

“После Октябрьского переворота Шереметевы собрались в московском доме на Воздвиженке. Остаться в России становилось опасно, но покинуть ее казалось невыносимо. 13 ноября 1918 года С.Д.Шереметев писал князю Н.С.Щербатову: «Дорогой Князь, Вы знаете, ныне арестованы после обыска четыре сына и оба зятя... мне нездоровится, да и трудно поправиться... » Через месяц граф Сергей Дмитриевич Шереметев умер.

Род Шереметевых распался: одни эмигрировали, многие из тех, кто остался в России, подверглись репрессиям”.

Репрессии, аресты, обыски, слежка, гибель от пули или в лагере – расхожий мотив на страницах этого романа, как был он расхожим в жизни «стомиллионного народа». Мы встречаем здесь не только всем известные имена: Гумилев, Мандельштам, Пунин (и его знаменитые солагерники), Лев Гумилев... Но вот, например, упоминается человек, с которым некогда вели философские разговоры юный Лева, а в сноске сообщается:

“Николай Константинович Миронич (1901—1951) – лингвист-востоковед, друг семьи Пунина и частый посетитель их дома. Погиб в лагере”.

Или вот чуть более развернутая история:

“Когда-то, еще в 1918 году, Пунин и Полетаев писали в своей книге «Против цивилизации», конструируя путь к будущему, к созданию нового общества: «Отдельные индивиды могут, конечно, пострадать или погибнуть,

но это необходимо и гуманно и даже спорить об этом – жалкая маниловщина, когда дело идет о благе народа, расы и, в конечном счете, человечества». История показала, что этих «отдельных индивидов» оказалось 20 миллионов, среди них – Пунин, Полетаев и почти все, с кем они начинали создавать «новый мир»”.

Сноска: Е.А.Полетаев погиб в лагере в 1937 году.

И на этом фоне – жизнь Анны Ахматовой. Нет, не «на фоне». Этот «фон» и была ее жизнь. Особенно в те десятилетия, которые она провела в стенах Фонтанного Дома. «Дворцы и нищяя жизнь в них» – такой вариант названия одной из глав фигурирует в плане книги воспоминаний Ахматовой «Мои полвека» (да если бы только нищяя!). Воистину она, такая, казалось бы, ни на кого непохожая, была тогда со своим народом (там, где он, к несчастью, был), была как все – и в тюремной очереди, и в коммуналке. В самом начале этих десятилетий, в 1922 году, она писала:

Я – голос ваш, жар вашего дыханья,
Я – отраженьё вашего лица.

Но это, если не знать предстоявшего, еще можно счесть обычным поэтическим оборотом. То же – да не то ж, не «я» отдельно, «вы» отдельно, не «голос», не «отраженьё» и даже не «А это вы можете описать? – Могу», а какое-то запредельное приобщение – звучит 24 года спустя:

Со шпаной в канавке
Возле кабака,
С пленными на лавке
Грузовика.

Под густым туманом
Над Москвой-рекой,
С батькой-атаманом
В петельке тугой.

Я была со всеми,
С этими и теми,

– и лишь в последнем двестишии своей одинокой трагедией она вдруг отъединяется, общается:

А теперь осталась
Я сама с собой.

Под стихами – дата и место:

1946. Август

Фонтанный Дом

Русская мысль. 14.12.2000.

Свидетели Ахматовской эпохи

Анна Ахматова: последние годы

Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова

СПб: Невский диалект, 2001. (Музей Санкт-Петербурга к 300-летию города

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме)

В прошлом году, в «РМ» №4359, Татьяна Вольтская писала о первом выпуске серии воспоминаний, задуманной сотрудниками Музея Ахматовой в Фонтанном Доме, – «Петербург Ахматовой: семейные хроники» Зои Томашевской. Музей издал следующую книгу – на этот раз об Ахматовой рассказывают люди, знавшие ее лишь в последние годы жизни, из самых младших ее современников. (Младших-то младших, но двое из них – Виктор Кривулин и Владимир Муравьев – не дожили до выхода книги.) Воспоминания (выступления на вечерах или личные беседы-интервью) записала, подготовила к печати, снабдила детальными содержательными примечаниями (они заняли больше половины книги) Ольга Рубинчик.

Знакомство с Ахматовой у каждого из трех мемуаристов складывалось по-своему. Кривулин, пришедший к ней в 1960 г. шестнадцатилетним, говорит:

“Мы все глупые тогда были. (...) Но ей ужасно нравилась эта наивность. Насколько я понимаю, она нуждалась в моем удивлении, в такой реакции, которая в другом возрасте уже невозможна. Я думаю, что у нее была очень глубокая человеческая связь с подростками. Она вообще любила подростков – девочек, мальчиков. С ними она чувствовала себя необыкновенно свободно”.

Кривулин замечательно описывает Ахматову и общение с ней (заметив, впрочем, что «общение» – это не ее слово):

“Это была, конечно, школа. Школа поэзии как состояния. Как театра и не театра. Как такого бытия, где нет границы между подмостками и бытовой жизнью. Все время был какой-то внутренний расчет: каждое слово взвешено, продумано, как оно будет сказано, интонировано, обыграно. И тут не так важна была тема – сама речь доставляла наслаждение. Она превращалась в интеллектуальную игру (...) Это не было чем-то натужным. По многим воспоминаниям Ахматова предстает человеком, возведенным на котурны. Нет, этого не было, Ахматова – очень разумный человек. А была постоянная игра с историей, с людьми, с ситуациями. (...)”

И вот главное: результат был такой, что каждый раз, возвращаясь от Ахматовой, я ощущал себя каким-то значительным человеком. (...)”

Это были, конечно, странные разговоры. Если перевести их на бумагу и не интонировать, как она интонировала, то ничего особенного не получится.

Но интонация сообщала гениальный стиль произнесения. Какой-то такой дополнительный смысл, который сейчас уже восстановить невозможно”.

Томас Венцлова попал к Ахматовой, по его словам, «очень поздно» (он ведь на семь лет старше Кривулина): сначала случайно, в начале 60-х, а всерьез – только в 1964-м, и затем он принес ей книжку литовских переводов ее стихов, где были и его переводы. Помню, Анна Андреевна при мне сказала, что, по словам Вяч. Вс. Иванова, из всех переводов ее стихов на все языки самые лучшие – переводы Томаса Венцловы на литовский. В одну из московских встреч (которая оказалась последней) Анна Андреевна внезапно спросила Томаса: «Легко ли меня переводить?» Тот ответил: «Очень трудно. Я переводил Пастернака, и там я позволял себе отсебятину. Когда переводишь Ахматову, отсебятины допускать нельзя, надо, чтобы было более или менее слово в слово и при этом сохранялся рисунок стиха. И вот это безумно трудно».

“Она, – продолжает Томас, – ответила: «Я так и думала», – и была очень довольна”.

О стихах, своих и чужих, Ахматова думала много, неустанно, притом и как поэт, и как очевидец их (стихов, и не только современных ей) жизни, и как историк и даже теоретик литературы. Томас Венцлова приводит ее слова, которые он тогда же, вернувшись от Ахматовой, записал в дневник:

“Блока сейчас не любят. Одни молодые люди говорят, что его стихи – это как бы непреходящее, но не нужное, а другие, приткие, просто совсем не принимают. Он ведь великий поэт («великий» было сказано с нажимом), а ничто от него не пошло. Мы же были изгой, нас так ругали, как сейчас никому и не снилось. А от акмеизма все пошло. Мандельштама никто не знал, не знал, а потом после смерти – такое!”

Самым замечательным в этой книге мне представляется весь блок материалов Владимира Муравьева (1939–2001). Начинается он с материалов о нем: его собственных «Автобиографических кроков» и написанного после его смерти очерка Григория Померанца – и продолжается уже собственно ахматовскими материалами: две мемуарных беседы и короткая, но очень глубокая заметка «Бег времени. Примечания к названию Седьмого сборника стихотворений Анны Ахматовой», написанная при ее жизни, в 1963 году.

Придя впервые к Ахматовой в конце 1962 или начале 1963-го, Володя Муравьев сказал ей, что «Поэма без героя» – его постоянное чтение.

“Она очень удивилась, потому что это тогда было совсем не так часто”.

И он «как-то неожиданно, может быть, даже незаслуженно завоевал некоторое ее доверие и несколько особое отношение». Думаю, все-таки заслуженно, недаром он пишет, что они «виделись каждый раз непременно», когда она приезжала в Москву или когда Володя приезжал в Ленинград, – «всего около ста раз». Замечу, что, бывая в те же годы (но явно меньше ста раз) у Ахматовой и одна, и при других гостях, я Володю ни разу не встретила (хотя не раз встречала у Н.Я.Мандельштам). Впрочем, и сам он говорит:

“У нее, скажем, со мной было отдельное общение. Часа полтора-два мы сидели и разговаривали”.

В «Записных книжках» Ахматовой есть запись:

“В.М., которому уже 23 года, пишет о поэме: «Вечный допрос? – Нет. Нечто более реальное – тождество поэзии и совести, расплата стихами»... (и дальше)”.

Приведем это «дальше», так как фрагменты «Заметок» В.Муравьева (полная публикация которых обещана в книге Н.Крайневой и Ю.Тамонцевой «К творческой истории “Поэмы без героя”») подарены нам в комментариях:

“Тожество истории и биографии, гордость и ясность взгляда. И чудо: поэзия оказывается искуплением, звуконепроницаемость могильной действительности нарушена:

И я слышу даже отсюда —
Неужели это не чудо! —
Звуки голоса твоего.

Торжество: могилы откликаются на звук. Торжество: найден тот уровень сознания и видения, на котором звуки складываются в реквием”.

В общении с Ахматовой Муравьеву открывался тот «тайный контур» ее поэзии, который в те годы восстанавливался во всем, что строилось вокруг «Поэмы» – «центрального дела жизни Ахматовой»: в творчестве, жизни, разговорах, помыслах. В этом контексте он вспоминает, например, свои впечатления от ее прозы о Модильяни:

“Я был, наверное, первым перепечатчиком этой прозы. Она мне читала, а я печатал на машинке”.

Но Володя был не только собеседником и перепечатчиком – они с Ахматовой многое вместе читали. Встречаются в воспоминаниях Муравьева упоминания такого рода:

“Вот в «Ромео и Джульетте» она дивные строки нашла. Мы с ней читали насквозь. Она меня к этому приспособлявала, в качестве словаря и отчасти комментатора”.

А на вопрос, много ли Ахматова сидела с ним над книгами, Муравьев отвечает:

“Что значит – над книгами? Это уж слишком широко получается. Бывало, мы с ней сидели, иногда просто разбирали что-нибудь, как «Кориолана» Шекспира, как «Книгу Иова». Кафку мы читали подробно, как и «Божественную Комедию», точнее говоря, третью песнь «Ада»”.

Так сильно, как, пожалуй, никто до сих пор, говорит Владимир Муравьев о том особом чувстве, которое испытывали все мы, кому повезло в молодости встретиться с Ахматовой:

“С ней разговаривая, я чувствовал себя действительно в стороне от дикого безобразия советской действительности, я как бы приобщался... к контексту мировой культуры”.

И в то же время – удивительное равенство двух собеседников (Ахматова вообще умела и любила говорить с людьми на равных⁵):

“А бывало, мы просто начинали спорить, какие ее стихи, какие мандельштамовские стихи лучше, какие фетовские стихи, так сказать, главнее. (...) Я ей сказал, что вот эту струю черной страсти у Фета я не очень люблю. Тут

⁵ Я навсегда запомнила, как я опростоволосилась в одном разговоре с ней. В своей маленькой комнате на Ордынке она прочла мне только что написанное «Услаждала бредами...» (потом вошло в цикл «Песенки» как «5. Последняя»). Прочла – и ждет, что я ей скажу. Я пробормотала что-то насчет того, как потрясли меня последние строки: «Но забыть мне не дано / Вкус вчерашних слез». Она была недовольна – ей нужны были не восторги, а профессиональный разговор поэта с поэтом! Этого я не умела: я и сидя продолжала стоять по стойке «смирно». – *Прим. нынешнее.*

мы не сходились. А в чем-то, наоборот, очень сходились, какие-то находились у нас общие строчки”.

Хочу в заключение привести две концовки двух бесед-воспоминаний Владимира Муравьева, такие непохожие друг на друга по настроению и такие важные для понимания Ахматовой и ее эпохи.

“Ну и очень, конечно, страшно было, очень страшно – ее похороны. (...)”

По сравнению с этим похороны Пастернака можно назвать интеллигентским райским видением. (...) А здесь – этот ужас мартовского Ленинграда, это темное кладбище со злобной руганью, с бдительными топтунами через каждые десять метров, с ерничающим Михалковым. Вообще начальство вибрировало и тряслось. В Ленинград, что называется, препроводили. Если бы начальство соображало, оно бы устроило все это в Москве. Но оно именно, так сказать, выпроводило, чтобы в Москве этого не было. А Москва хорошо проводила великого русского поэта: обнаженный труп Анны Андреевны три дня лежал в подвалах морга – по случаю праздника Восьмого марта. Таковы были проводы, которые устроила советская Россия. Достойные проводы. Именно это она от них и заслужила”.

“...А в Анне Андреевне была, как это ни странно, какая-то неумолчная, такая постоянная тихая веселость. И это было поразительно.

Жизнь Ахматовой последних лет неотрывна от поэзии, как неотрывна от поэзии жизнь всякого поэта. И содержанием ее жизни-поэзии было, не устану повторять, восстановление исторического существования культурного человека. Русского человека как сообщника и соучастника всемирной культуры, христианизированной истории.

Словом, я очень счастлив, что был свидетелем вот этой самой эпохи, в которой на самом деле главенствовала Ахматова”.

Этих счастливых свидетелей – нас – остается всё меньше, но думаю, что это главенство Ахматовой еще впереди, что мы всё еще не до конца, не до самых глубин ее поняли и восприняли. Изданная Музеем Ахматовой книга воспоминаний помогает понять и воспринять ее облик, и человеческий, и поэтический, облик ее «поэзии-жизни».

Русская мысль. 25.04.2002.

Умерим восторги

Анна Ахматова. Собрание сочинений. В 6 т. [Т.] 1. Стихотворения. 1904-1941

[Сост., подгот. текста, комм., статьи Н.В.Королевой]. М.: Эллис Лак, 1998

Не могу разделить безусловное восхищение нашего рецензента [Анны Саакянц, чья рецензия была напечатана в том же номере «РМ». – НГ] первым томом шеститомного Собрания сочинений Ахматовой. Соглашусь, что «один раз» можно издать стихотворения Ахматовой, расположив их хронологически, однако, даже упрежденная (прочитав рецензию и лишь потом открыв книгу), я испытала шок: первый том первого столь полного издания Анны Ахматовой открывается стихотворением 15-летней Ани Горенко, таким, какие тогда писали, вероятно, сотни одаренных живой и впечатлительной душой гимназисток.

Чтобы испытать шок, не надо быть ни ахматоведом, ни снобом. И пример с Пушкиным тоже не убеждает: редакторы упомянутых Анной Саакянц десяти томников учли в его случае авторскую волю (допустим, одну из «авторских волей» разного времени).

Так что, может быть, стоит договориться: один раз мы стерпим, что Собрание сочинений Анны Ахматовой построено с разрушением не только циклов, но и книг – по хронологическому принципу. Впрочем, впрямь ли? Так выстраиваются пока только стихотворения. Поэмы в эту хронологию не входят (у них, видимо, будет своя). Между тем, коли уж задача – показать «творческий рост» поэта, то как же отделять поэмы от стихотворений, тем более поэмы Анны Ахматовой, насквозь лирические. Скажем, пушкинские поэмы – совсем отдельный жанр, и печатать их в отдельном томе правомерно, но представлять ахматовскую лирику по 1940 год без «У самого моря», «Путем вся земля» и начатков «Поэмы без героя» – против хронологии грех.

Что же до «Реквиема», то его разбиение на первоначальные отдельные стихотворения можно снести лишь при условии, что в томе поэм его единство будет восстановлено, т.е. все эти стихи будут напечатаны еще раз, но уже как поэма.

Если бы еще перед стихотворением Ани Горенко шла хоть короткая вступительная заметка, извещающая читателя о принятых в этом издании принципах, – но нет, о них сообщается лишь во вступлении к комментариям...

К комментариям тоже хочется сделать несколько замечаний – далеко не исчерпывающих, лишь о том, что при первом чтении бросилось в глаза. Нет сомнения, что Н.Королева действительно проделала огромную работу, сводя печатные и архивные данные, широко пользуясь результатами того, что в рецензии названо «коллективным ахматоведением», старательно ссылаясь на свои источники. (Иногда, может быть, даже слишком старательно: стоило ли при разговоре об отношениях Ахматовой и Модильяни упоминать книгу Б. Носика «Анна и Амедео»? Если Зинаида Шаховская в одном интервью на вопрос о носиковской биографии Набокова, смеясь, отозвалась, что это просто «анекдот», о котором и говорить не стоит, то «ахматовская» книга плодovitого автора – уже «скверный анекдот». Зато упущена фундаментальная работа Августы Докукиной-Бобель, первой обнаружившей, что на неизвестных рисунках Модильяни изображена Ахматова.)

Но работа над следующими томами продолжается, и можно будет учесть замечания, которые, безусловно, поступят и от более компетентных, чем я, авторов. Вполне представляю себе где-нибудь в конце шестого тома раздел «Исправления и дополнения».

Укажу один «ляп» – тем более серьезный, что из него делаются далеко идущие выводы. Ссылаясь на надежные свидетельства П.Лукницкого, Н.Королева указывает, что знакомство Анны Ахматовой и Бориса Анрепа произошло в Вербную (собственно говоря, Лазареву) субботу Великого поста 1915 г. – 15 марта. А в примечании к стихотворению «Выбрала сама я долю», к стихам «Отпустила я на волю / В Благовещенье его», объясняется:

“...праздник Благовещенья Пресвятой Деве Марии (понедельник на пятой неделе Великого Поста, который в 1915 г. приходился на 10 марта)” (здесь и далее выделено мной. – НГ),

– откуда и делается вывод:

“Возможно, речь идет о Б.В.Анрепе и его отъезде на фронт, но дата Благовещенья не подтверждает это предположение”.

Между тем (на страницах «РМ» мне даже совестно сообщать эту азбучную истину), Благовещенье – непереходящий праздник, всегда отмечаемый 25 марта по старому стилю. Так что Ахматова могла проводить Анрепа на фронт через десять дней после их знакомства (этому противоречит лишь сообщенное ею Лукницкому «через три дня» – возможно, метафорическое, т.е. «очень скоро, через несколько дней»).

Стремление превратить комментарии в «небольшие этюды» тоже не всегда себя оправдывает. Иногда автор, увлекшись «контекстом», забывает текст. Так, на мой взгляд, случилось со стихотворением «Смеркается, и в небе темно-синем...».

Н.Королева честно приводит комментарий М.Мейлаха из душанбинского издания «Стихотворений Анны Ахматовой» (1991):

“Храм Ерусалимский – церковь Входа Господня в Иерусалим, более известная под именем Знаменской, на площади Николаевского (Московского) вокзала”,

– и отчасти соглашается:

“Вполне возможно, что Ахматова имеет в виду какую-то определенную церковь – многие детали стихотворения достаточно конкретны и рисуют вполне определенный пейзаж (...). Однако, возможно, образ имеет и отвлеченно-философское значение, восходящее к Библии”.

Следует рассказ о храме Иерусалимском в Ветхом и Новом Завете, в стихах Гумилева, Блейка, Мандельштама, самой Ахматовой (под «храм» подверстываются и «ворота») – и вывод:

“В этом нравственно-философском библейском смысле понятие «храм Ерусалимский» предстает в завершающих ахматовское стихотворение строках 21-28: «И если трудный путь мне предстоит», то «легким грузом» на этом пути будет память о великолепии «храма Ерусалимского» прекрасных дней прошлого”.

Но если не пересказывать стихотворение, а читать, то именно вслед за «определенным пейзажем» (город на закате) и «многими деталями» сказано:

И я подумала: не может быть,
Чтоб я когда-нибудь забыла это.
И если трудный путь мне предстоит,
Вот легкий груз, который мне под силу
С собою взять, чтоб в старости, в болезни,
Быть может, в нищете – припоминать
Закат неистовый, и полноту

Душевных сил, и прелесть милой жизни.

Право, Ахматова, религиозность и церковность которой Н.Королева справедливо отмечает, не нуждается в дополнительном «нравственно-философском библейском» осмыслении тех стихов, которые того не требуют. И храму иногда позволительно быть частью пейзажа.

Странное забвение текста – и в комментарии к стихотворению «Так отлетают темные души...». К стиху «Помнишь, мы были с тобою в Польше?» сообщено:

“Ахматова была в Польше (Вильно) с Н.С.Гумилевым в 1914 г., когда провожала его на фронт”.

Это так, да только кто в 1914 (или, наоборот, в 1940, когда писалось стихотворение) воспринимал Вильно как «Польшу»?! (Даже для Мицкевича, между прочим, здесь была «отчизна-Литва».) Но, более того, сразу за этим следует: «Первое утро в Варшаве... Кто ты?» Конечно, мы знаем, что Ахматова вроде бы не была в Варшаве – ни с Гумилевым, ни с кем другим. Но что-то же означает эта Варшава? Увы, комментатор проходит мимо этого стиха.

Не будем продолжать – оставим критику ахматоведам, которые в большинстве своем отнюдь не снобы, а люди, не только горячо преданные творчеству Ахматовой, но и досконально его знающие. Отмечу в заключение лишь отсутствие алфавитного указателя стихотворений и именного указателя (при набитости комментариев именами – необходимого). Им полагалось бы быть в каждом томе.

Русская мысль. 4.06.1998.

«Кто же сможет в этом разобраться?»

Роман Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Торонто-М.: Водолей, 2005

Так спросил Ахматову молодой Миша Ардов, глядя на то, как она делает записи в одной из своих записных книжек – листах, сброшюрованных под обложкой «Тысячи и одной ночи». Он имел в виду чисто материальную сторону «сложной работы», которую она задавала будущим исследователям: «У вас тут стихи, телефонные номера, даты, адреса...» Но этот вопрос можно трактовать и шире, хотя Роман Тименчик как раз называет свою книгу всего лишь «подступом к чтению “Записных книжек”». Все-таки я думаю, что разобрался он не только в их материи – на это хватило бы академического комментария. Разбираясь, он еще и разобрал – тяжбу поэта со временем («Отношения между этим поэтом и этим временем можно определить как отношения тяжбы»).

Добавлю, что отношения тяжбы странным образом затянулись и что послеахматовское время по-своему тягается с Ахматовой, предъявляет ей обвинения, «разоблачает мифы», «сводит с пьедестала» и т.п. Кому-то она мешает дышать – видимо, тем смрадным (одно из ее любимых слов), чем им дышать приятно. Но и они, выходит, к ней остро равнодушны – так же остро, как те, кто ею дышит. Книга Романа Тименчика, разумеется, не об этом, однако и в этой тяжбе она может стать весомым аргументом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.